

Часть первая

I

Вслед за коротким, легким, как детское дыхание, дневным потеплением на обращенных к солнцу горных склонах погода вскоре неуловимо изменилась — заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всюду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за собой холодную сизость предстоящей снежной ночи.

Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыкульского кряжа горы были завалены метельным свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной стихии пожар. Жутко, что тут разыгралось, — в метельной кромешности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода прояснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма, скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей и отстранившейся ото всего на свете стылой тишине.

И только все настойчивей возрастающий и все прибывающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающегося в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледяному перевалу Ала-Монгю, задымленному в ветреной выси кручеными облаками, все нарастал, все приближался, усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжествовал — полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, высотными льдами. Умножаемый среди скал

и распадков многократным эхом, грохот над головой надвигался с такой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще немного — и случится нечто страшное, как тогда — при землетрясении...

В какой-то критический момент так и получилось — с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звукового удара, небольшая осыпь и тут же приостановилась, как заговоренная кровь. Этого толчка неустойчивому грунту, однако, было достаточно, чтобы несколько увесистых камней, сорвавшись с крутизны, покатались вниз, все больше разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом пыль и щебень, а у самого подножия проломились, подобно пушечным ядрам, сквозь кусты краснотала и барбариса, пробили сугробы, достигли накатом волчьего логова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, в скрытой за зарослями расщелине близ небольшого, наполовину замерзшего теплого ручья.

Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху камней и посыпавшегося снега и, пятась в темень расщелины, сжалась, как пружина, вздыбив загривок и глядя перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирующими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опасения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно, когда от преследующего вертолета некуда деться, когда он, настигая, неотступно гонится по пятам, оглушая свистом винтов и поражая автоматными очередями, когда в целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голову, — ведь не расступится же земля, чтобы дать укрытие гонимым.

В горах иное дело — здесь всегда можно ускакать, всегда найдется где затаиться, где переждать угрозу. Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже знакомый, пережитый. С приближением вертолета волчица громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и все-таки

нервы не выдержали, сорвалась-таки — и яростно взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой боязнью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над ущельем железное чудовище, с появлением которого даже камни стали валиться сверху, как при землетрясении.

На панические вопли Акбары в нору просунулся ее волк — Ташчайнар, находившийся с тех пор, как волчица затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке среди зарослей. Ташчайнар — Камнедробитель, — прозванный так окрестными чабанами за сокрушительные челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал, как бы прикрывая ее телом от напасти. Притискиваясь к нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжала скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому небу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей несчастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла совладать с собой даже после того, как вертолет исчез за могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем не слышно за тучами.

И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу космического беззвучия, горной тишине волчица вдруг явно услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки. Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от глаз существ, и это странное обстоятельство удивило и заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно наставив уши, недоверчиво взирающую на свою удушенную жертву. И настолько это было чудно и непонятно, что она попыталась даже затеять игру с теми невидимыми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышью. А теперь сама обнаружила в нутре своей такую же живую ношу — то давали знать о себе те, которым предстояло при благополучном стечении обстоятельств появиться на свет недели через полторы-две. Но пока

что ненародившиеся детеныши были неотделимы от материнского лона, составляли часть ее существа, и потому и они пережили в возникающем, смутном, утробном подсознании тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То было их первое заочное соприкосновение с внешним миром, с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передался им материнской кровью.

Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчицы учащенно заколотилось — его наполнили отвага, решимость непременно защитить, оградить от опасности тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не задумываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил великий природный инстинкт сохранения потомства. И тут же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность — потребность приласкать, пригреть будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как если бы они уже были под боком. То было предощущение счастья. И она прикрыла глаза, застонала от неги, от ожидания молока в набухших до красноты, крупных, выступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно, медленно-медленно потянулась всем телом, насколько позволяло логово, и, окончательно успокоившись, снова придвинулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч, шкура его была тепла, густа и упруга. И даже он, угрюмец Ташчайнар, и тот уловил, что испытывала она, мать-волчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ее утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив ухо торчком, Ташчайнар приподнял свою угловатую, тяжеловесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрачков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие. И он сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая, выражая так доброе свое расположение и готовность беспрекословно слушаться синеглазую волчицу и оберегать ее,

и принялся старательно, ласково облизывать голову Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык Ташчайнара и тогда, когда он заигрывал и ластился к ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгорячась от бурного прилива крови, становился упругим, быстрым и энергичным, как змея, хотя попервоначалу и делала вид, что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда в минуты спокойствия и благоденствия после сытной еды язык ее волка был мягко-влажным.

В этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались. Лишь однажды был странный, неожиданный случай, когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки — отвратительным духом бесстыжей течки, стравливающей и скликающей самцов за десятки верст, вызвавшим у нее неудержимую злобу и раздражение, и она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковылять много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, чтобы покорить и ублажить ее, Акбара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой паре.

Сейчас Акбара, после того как она немного поуспокоилась и пригрелась под широким боком Ташчайнара, была благодарна своему волку за то, что он разделил ее страх, за то, что он тем самым возвратил ей уверенность в себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение, которое все еще давало себя знать неожиданной дрожью, сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как непонятно и беспокойно вели себя еще не народив-

шиеся щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с великой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь морозной ночью.

Так заканчивался тот день страшного для волчицы потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту материнской природы, переживала она да столько за себя, сколько за тех, которые ожидалась вскоре в этом логове и ради которых они с волком выискали и устроили здесь, в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяческими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы было где свое пристанище иметь на земле.

Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разнились от их местных собратьев. Первое — отвороты меха на шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие глаза — редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай. Волчица прозывалась среди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белоходкой, но вскоре по законам трансформации языка она превратилась в Акбары, а потом в Акбару — Великую, и между тем никому невдомек было, что в этом был знак провидения.

Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине. Появившись однажды, они, однако, продолжали держаться особняком. Попервоначалу пришельцы бродили во избежание столкновений с хозяевами большей частью по нейтральным зонам здешних волчьих владений, перебивались как могли, в поисках добычи забегали даже на поля, в низовья, населенные людьми, но к местным стаям так и не пристали — слишком независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и пребывать в подчинении.

Всему судия — время. Со временем сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в многочисленных жестоких схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, были хозяевами, и уже местные волки не решались вторгаться в их пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но всему этому предшествовала своя история, и если бы звери могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отличалась большой понятливостью и тонкостью восприятия, пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.

В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизнь — в нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским просторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда антилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульником, древнейшие, как само время, из парнокопытных, когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные животные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь ус — потоки океана, и потому наделенные способностью бежать без передышки с восхода и до заката солнца, — так вот когда они приходили в движение, преследуемые извечными и неразлучными с ними волками, когда одно спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и другое и третье и когда в это поголовное бегство включались встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки по Моюнкумам — по взгорьям, по равнинам, по пескам, как обрушившийся на землю потоп, земля убегала вспять и гудела под ногами так, как гудит она под градовым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вихрящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами, летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки, пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытались

направить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их среди саксаула матерые резчики, — те звери, которые бросались из засады на загривок стремительно пробегающей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали перекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погоню; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной, а облава с нового круга возобновлялась с еще большей яростью и скоростью, и все они, гонимые и преследующие, — одно звено жестокого бытия — выкладывались в беге, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь, чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам Бог мог остановить и тех и других, гонимых и гонителей, ибо речь шла о жизни и смерти жаждущих здравствовать тварей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за существование — в беге-борьбе, — те волки валились с ног и оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся, как буря, погоней, а если и оставались в живых, уходили прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобидных овечьих отарах, которые даже не пытались спастись бегством, правда, там была своя опасность, самая страшная из всех возможных опасностей, — там, при стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи рабы, те, кто сами живут, но не дают выживать другим, особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть свободным...

Люди, люди — человекобоги! Люди тоже охотились на сайгаков Моюнкумской саванны. Прежде они появлялись на лошадях, одетые в шкуры, вооруженные стрелами, потом появлялись с бабахаящими ружьями, гикая, скакали туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в другую сторону — поди разыщи их в саксаульных урочищах, но пришло время, и человекобоги стали устраивать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а потом человекобоги стали прилетать на вертолетах и, высмотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли на окружение

животных в указанных координатах, а наземные снайперы мчались при этом по равнинам со скоростью до ста и более километров, чтобы сайгаки не успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху цель и движение. Машины, вертолеты, скорострельные винтовки — и опрокинулась жизнь в Моюнкумской саванне вверх дном...

Синеглазая волчица Акбара была еще полуярккой, а ее будущий волк-супруг Ташчайнар был чуть постарше ее, когда пришел им срок привыкать к большим загонным облавам. Поначалу они не поспевали за погоней, терзали сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем превзошли в силе и выносливости многих бывалых волков, а особенно стареющих. И если бы все шло как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но все обернулось иначе...

Год на год не приходится, и весной того года в сайгачьих стадах был особо богатый приплод — многие матки приносили двойню, поскольку прошлой осенью во время гона сухой травостой зазеленел раза два наново, после нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма было много — отсюда и рождаемость. На время окота сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные большие пески, что в самой глубине Моюнкумов, — туда волкам добраться нелегко, да и погоня по барханам за сайгаками — безнадежное дело. По пескам антилоп никак не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье животных выбрасывало бесчисленное сайгачье поголовье на полупустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам Бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по великой жаре, волки предпочитали не трогать сайгаков, благо другой, более доступной добычи было достаточно — сурки во множестве сновали по всей степи, наверстывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за лето успеть все, что успевали другие животные и звери за год жизни. Вот и суетилось вокруг сурочье племя, презрев опасность. Чем не промысел — поскольку всему ведь свой

час, а зимой сурков не добудешь — их нет. И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки, шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная добыча — великая охота на сайгаков — приходилась на осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же всему свое время. И в том была своя, от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия да человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в Моюнкумах...

II

К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и только тогда полегчало — дышать живым тварям стало свободней, и наступил час самой отрадной поры между зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем, нещадно пропекающим солончаковую степь добела, и уходящей душной, горячей ночью. Луна запылала к тому времени над Моюнкумами абсолютно круглым желтым шаром, освещая землю устойчивым синеватым светом. И не видно было ни конца, ни начала этой земли. Всюду темные, едва угадываемые дали сливались со звездным небом. Тишина была живой, ибо все, что населяло саванну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час прохладой, спешило пожить. Попискивали и шевелились в кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи, цикады, что пропели не смолкая всю ночь, затурчали с новой силой, уже высовывались из нор и оглядывались по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая к сбору корма — осыпавшихся семян саксаула. Летали с места на место всей семьей большой плоскоголовый серый сыч и пяток плоскоголовых сычат, подросших, оперившихся и уже пробующих крыло, летали как придется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из виду друг друга. Им вторили разные твари и разные звери предрасветной саванны...

И стояло лето, первое совместное лето синеглазой Акбары и Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в число самых сильных пар среди моюнкумских волков. К их счастью, — надо полагать, что в мире зверей тоже могут быть и счастливые и несчастные, — оба они, и Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы качествами, особо жизненно важными для степных хищников в полупустынной саванне, — мгновенной реакцией, чувством предвидения на охоте, своего рода «стратегической» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной физической силой — быстротой и натиском в беге. Все говорило за то, что этой паре предстояло великое охотничье будущее и жизнь их будет полна тяготами повседневного пропитания и красотой своего звериного предназначения. Пока же ничто не мешало им безраздельно править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение человека в эти пределы носило еще характер случайный и они еще ни разу не сталкивались с человеком лицом к лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, если не сказать привилегия, их от сотворения мира заключалась в том, что они, звери, как и весь животный мир, могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освободила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя именно в этой милости таилась и та трагедия, которая подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них не дано было заподозрить это. Никому не дано было представить себе, что кажущаяся нескончаемой Моюнкумская саванна, как ни обширна и как ни велика она, — всего лишь небольшой остров на Азиатском субконтиненте, место величиной с ноготь большого пальца, закрасненное на географической карте желто-бурым цветом, на которое из года в год все сильнее насаждают неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают неисчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за артезианскими скважинами в поисках новых ареалов